

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

Орган правления союза советских писателей СССР.
Выходит под редакцией В. Вишневского, А. Кулагина,
В. Лебедева-Кумача, М. Лифшица, Е. Петрова,
Н. Погодина, А. Фадеева.

№ 39 (818)

15 июля 1939 г., суббота

Цена 30 коп.

БРАТЪЯ

Некоторые мелочи, написанные на заказ, доставляли самому Чехову какое-то неожиданное удовольствие.

Когда Чехов сочинял литературные пародии, он забывал об издателях, редакторах и подписчиках.

Перечитывая эти пародии, он смеялся, словно над совсем чужими вещами.

Была у него пародия на Виктора Гюго, Жюль Верна, на Понсон дю Террайля, автора «Рокамболя», на модные романы венгерского писателя Мавра Йокая.

Пародия на Мавра Йокая, впрочем, совсем не удалась. Она была почти так же длинна, как произведения самого Мавра Йокая, и Чехов с досадой замечал, что он больше подражает венгерскому романисту, чем его высмеивает.

Сочинил еще Чехов несколько маленьких рассказов под общим названием «Жены артистов» — пародию на Альфонса Додэ.

К этой пародии у Чехова было особое отношение.

Высмеивая Гюго и Жюль Верна, Чехов высмеивал свое собственное прошлое, ставшее уже далеким. Из стиля этих писателей Чехов вырос, как вырастают из платья.

Но Альфонса Додэ он любил и теперь. Любил его теплоту и изящество, его наблюдательность, может быть немного женскую, но в этой самой женственности живую и нервную. Любил скромную песню Додэ о понятном и бестолковом человеческом счастье.

В «Вестнике Европы» Чехов прочел корреспонденцию Золя об Альфонсе Додэ.

Чехов узнал, что автор «Сказок понедельника» явился в Париж с юга, из Прованса, явился молодым и свободным.

Отрывок из второй части биографической повести «Антоша Чехонте».

Он был поэтом, но на него смотрели как на газетчика. Он приносил сказки о людях и природе родных мест, а от него требовали заметок для дневника происшествий. Додэ прятал в карман свои сказки и возвращался с этими заметками с таким беспечным и улыбающимся видом, с каким приносят цветы с утренней прогулки.

И в самом деле, фельетоны и репортерские заметки Додэ, словно подобранные на парижских улицах, пахли все же не асфальтом и светильным газом, а мятой и лавандой.

Сведения о Додэ показались Чехову очень интересными.

Он вспомнил Некрасова, его писательскую молодость — это лихорадочное издание в день, из месяца в месяц писание на заказ рассказов, повестей, романов, драм, водевилей.

Так ли нужна поэту прямая и гладкая дорога к своей поэзии?

Не должна ли эта прямая и гладкая дорога казаться поэту слишком прямой и слишком гладкой, если только он — истинный поэт?

Не убивает ли журнализм только тех, кто все равно обречен на бесплодие?

Чехов купил портрет Додэ. Ему хотелось его повесить у себя в комнате на стене.

Но в конце концов Чехов раздумал и заложил портрет Додэ между страниц учебника анатомии Гиртля.

Мир, заключенный в рассказах Додэ, был близок и понятен Чехову.

В «Женах артистов» Додэ рассказывал об обитателях парижских мансард, о людях богемы, уравненных нищетой настоящего и застоявшимися мечтаниями о будущем.

Жизнь этих людей требовала искуст-

венного освещения, иначе декорации казались слишком жалкими.

Николай взялся нарисовать к «Женам артистов» иллюстрации.

Уговорить Николая было очень трудно, потому что работал Николай мало.

Он удивительно легко мирился с пятнами на обоях, с остатками обеда на клеенке, с ведром в углу, с мертвыми мухами на подоконнике, но стоило ему только взять в руки кисть, как в нем пробуждалась внезапная требовательность, и он плачущим голосом начинал жаловаться на обстановку, называя ее нехудожественной.

Когда кто-нибудь спрашивал Николая о том, как раздражаются его последние картины, он раздраженно отвечал:

— Неужели вы думаете, что я могу здесь писать? И потом... воздуха мало. Художнику воздух нужен.

И если при этом разговоре присутствовал Павел Егорыч, Николай бросал на него такой взгляд, словно именно отец виноват в том, что Николаю нехватает воздуха.

Летом Николай вместе с кем-нибудь из приятелей-художников уезжал на этюды — в подмосковные деревни или в маленькие, забытые людьми городки, разноцветные и такие тихие, что казались скорее своеобразными уголками природы, чем созданиями человеческих рук.

Сперва все увлекало здесь Николая: и древний собор с зеленой от старости железной дверью, и гостинный двор, увешанный большими замками, и река, по которой процывали иногда ржавые пароходики.

Но проходила неделя, все казалось Николаю уже знакомым и надоевшим, и опять с раздражением он говорил своему спутнику, указывая на домик, в котором они жили:

— Разве я могу работать в этом сарае! Возвращался Николай в Москву с пустым альбомом и с нетронутым запасом красок, весь в пыли, скучный и молчаливый.

Он оживлялся только тогда, когда «по секрету» рассказывал Антону о своих романах.

Был у него роман с какой-то Наташей — дочерью хозяйки.

Хозяйка запрещала ей бывать с «этими художниками», но Наташа все же приходила к ним и, краснея от удивления и страха, слушала их беседы. Она любила Николая.

Расставаясь с ним, Наташа плакала. Она хотела всегда быть с Николаем, всегда беречь его жизнь, как только сможет она ее сберечь.

Николай ответил ей, что художник не должен иметь семьи. Об этом Николай рассказывал Антону с довольной усмешкой. Видимо, он гордился тем, что занимается такой профессией, которая отнимает право иметь жену и детей, но дает право ездить в Салон де Варьете на Большой Дмитровке.

В эту минуту Николай показался Антону глупым до жалости, хотя он хорошо знал, что Николай совсем не глуп и только немного жалок.

Иногда Николай приводил к Антону своих товарищей-художников.

Среди них были ученики училища живописи и ваяния, носившие пледы через плечо — по-студенчески, были и художники немолодые, давно ставшие профессионалами.

О своих друзьях Николай говорил или как о талантах, подающих большие надежды, или же как о мастерах, которых публика не понимает.

Один из них, в широком отложном воротничке, в каких обычно изображается на гравюрах Шекспир, здороваясь в перекосе с прислугой, низко склонился перед ней в перемонном поклоне и произносил всегда одну и ту же фразу:

— О, как я счастлив приветствовать вас, прекрасная лонна!

Это вызывало смех всей компании. Художник в шекспировском воротничке считался остроумным.

В столовой начинался разговор о живописи. Гости упрекали Семирадского за обилие золота и перламутра, называли Шишкина учителем ботаники, Маковского обвиняли в том, что на всех картинах он пишет свою собственную жену. Свои мнения художники высказывали отрывистыми и пренебрежительными фразами.

Среди разговора Николай подходил к шкапчику в коридоре, долго возился в нем и, ничего не найдя, посылал прислугу за пивом. Прежде чем закусить, Николай долго принимался к корочке черного хлеба.

Выпив, забывали и о Семирадском, и о Шишкине и говорили уже только о себе: о ненаписанных еще картинах, будущих премиях, успехе, известности.

Чужая слава вызывала в этих людях не чувство гордости, а тревогу. Им никогда не приходила в голову простая мысль о том, что славу в искусстве никогда не делают, а только умножают.

Пока все эти ученики и сотрудники иллюстрированных изданий оставались бедными и неизвестными, пока они жили в дешевых номерах, сходились с натурщиками и модистками, носили лето и зиму одно и то же пальто, о них в компании Николая говорили хорошо.

Но стоило только кому-нибудь из них обратить на себя внимание, осуществить наконец свои замыслы, как отношение к нему сейчас же менялось. Его называли теперь пронавшим талантом, пошлым ремесленником, шутком гороховым, думающим только о забаве публики. Если теперь с этим художником ходили в трактир, и ему, как человеку со средствами, приходилось платить за всех, то денег потом ему не отдавали и долгов этих не только не стеснялись, но говорили о них с гордостью.

Вокруг чужой славы Чехов не суетился. Мелкий газетчик, он в конце концов оставался спокойным и свободным. Он хорошо чувствовал опасность своего жур-

нального ремесла. Несмотря на это Чехов ни на одну минуту не считал свое будущее проигранным. Как-то незаметно и для себя и для других он повел свою жизнь.

Внезапные решения, почему-то так часто приходящие человеку на рассвете, — изменить жизнь круто и бесповоротно, были ему незнакомы.

В дни, когда в доме совсем не было денег, и Антон шел в ломбард закладывать все те же, случайно уцелевшие от таганрогских распродаж вещи, тетя со вздохом ему говорила:

— Вернулись бы мы, Антошенька, в Таганрог... Право же лучше, чем здесь маяться.

Чехов хорошо знал, что в Таганрог он не вернется.

Было у него одно только решение: вести свою жизнь талантом.

Это значит — много трудиться, искать, мучиться, но чтобы и труд, и поиск, и мучения в конце концов были похожи на большую и настоящую радость.

Отрываясь на недолгие часы от привычной спешки, от тягостной и одновременно веселой необходимости быть всегда изобретательным, держать свой талант в состоянии особой, изнуряющей журналистской возбужденности, Чехов написал несколько рассказов, серьезных и грустных, о себе самом, о Николае и его друзьях, о своих глубоко запрятанных душевных тревогах, о жизненном долге человека, который называет себя художником не потому, что так называться приятно, а потому, что без чувства себя как художника все существо этого человека начинает себя изнашивать, как в болезни.

Николай себя в этих рассказах не узнавал.

Он очень удивился бы, если кто-нибудь назвал его неудачником.